

Дмитрий Фурманов

# Морские берега



Дмитрий Фурманов

**Морские берега**

«Public Domain»

1925

## **Фурманов Д. А.**

Морские берега / Д. А. Фурманов — «Public Domain», 1925

Очерки созданы после пребывания Фурманова на юге, на Кавказском побережье, летом 1925 года (июнь – июль). Как всегда, писатель не расставался с дневником и заносил в него свои свежие впечатления. Работая над очерками, Фурманов делает основательный отбор фактов, чтобы выявить наиболее существенное в изображаемых явлениях. На первый план он выдвигает приметы нового, людей труда. Очерки Фурманов обрабатывал особенно старательно, неоднократно их исправлял. «Я на этих очерках пробовал себя, – заявляет писатель. – И увидел, что могу, что ушел вперед, вырос». А. М. Горький, прочитав книгу «Морские берега», присланную ему в Сорренто А.Н. Фурмановой, дал очеркам высокую оценку.

© Фурманов Д. А., 1925

© Public Domain, 1925

## Содержание

Луний	5
Путь	9
Конец ознакомительного фрагмента.	12

# Дмитрий Андреевич Фурманов

## Морские берега

### *(Художественные очерки)*

#### Лунин

У каждого есть своя светлая точка в году, и каждый ту точку любит, любит и ждет, когда ей черед, когда она в черную непогоду выглянет близко-близко, словно маяк на молу. У каждого разные точки. Уж как же любо после крепкого годового труда отдохнуть врасстяжку. Это тоже точка. Мы долго ждали своего череду, своей точки. И ждали не напрасно: кучей катим на Черное море, в горную глухую Мацесту. В вагоне веселья и вранья – аж лампы тухнут. Перезнакомились все промеж себя с первого перегона. Настроенье высочайшее. Надеждам – конца не видать. Что-то и люди кругом будто стали получше, словно и солнышко греет теплее, словно и грудь дышит легче, ядреней, свежей. И так охота поговорить, кому-то что-то пересказать, так охота послушать новых людей, с которыми никогда, никогда не знался, которые должны сказать тебе что-то такое, чего не слышал никогда.

Ну, и ясное дело, – главный разговор сбивался на Мацесту.

– Окаймленная глухими горами, – рассказывал некто в чесучовой рубашке, – брошенная глубоко на дно ущелья – Мацеста представляет собою род пещеры в горных тайниках...

Мы слушали с придушенным дыханьем.

– Тысячелетние дебри лесов, – продолжала чесуча с торжественным пафосом, – изобилуют редчайшими породами деревьев, таких деревьев, которых уже нет ныне и в Южной Америке; на горных лугах, в тучах поднебесных, пасутся стада диких коз, скачут легкие рогатые бараны, в темной тихой чаше прорычит на заре леопард, железными клыками черный колючий кабан проложит сквозь заросль свою дорогу...

Публика тесно сбилась в нашем купе – слушали чесучового не только курортники, слушали и просто пассажиры, едущие всяк на свою потребу; слушали комсомолки, торопившиеся шумно в подшефную волость, слушали проводники с казенными козырьками...

– Из недр этих нетронутых гор, – говорила чесуча, – возле самой Мацесты на высоте двух тысяч метров пробиваются в скалах и вырываются злыми водопадами серные источники; они по скалам кидаются вниз и образуют здесь соленое серное озеро – в этом озере купаются больные, там будете купаться и вы...

Рассказчик смолк и обвел всех насыщенным, торжествующим взором; впечатление достигнуто было потрясающее – молчанием надо было его усилить до восторга.

– Товарищ, позвольте – какое такое озеро, там же ванны?

– Ну да, ванны, а я что говорю, – не смутился ничуть чесучовый рассказчик. Он слегка поправил ворот рубашки, подергал этак небрежно подбородком и сказал: – Так вот, я не закончил: из этого озера... из этого дикого озера целебная вода идет по ваннам...

В эту минуту кто-то вдруг пронзительно взвизгнул. Глядь, пыльная старушонка замахала беспомощно руками и кинулась к соседнему окну. Мы за нею повскакали враз и увидели, как в полете окошка, словно хищная птица, мелькнуло что-то огромное и темное...

– Полушалок-то... Полушалок мой, господи!

Поезд разогнал веселый ход, густо рычали сердитые рельсы, зудели горласто скрипучие колеса, наш засуматошенный вагон быстро убегал от бабкиного полушалка. И забесилась глупая тревога, зашумела беспокойная, скандальная суета, выползли из нор тяжелые охи-вздохи,

заскакали чертенятами проклятья ловкому ворю, что на ходу выхватывает крючьями полушалки словно шалую рыбку где-нибудь на тихой заводи Оки.

Так и ша: полушалка словно не бывало! Ну, и известное дело, – забыли вмиг чесучового мацестинского вряля, только скользнул безразлично чей-то колючий сухой вопрос:

– А вы давно из Мацесты?

– Я, собственно, сам-то и не был, но...

– Не был? А врал как ладно! – прихлопнул чесучу бесстрастный собеседник.

Раздавил рассказчика тяжелый приговор. Пятком-пятком, с оглядкой да с ухмылкой уполз он, посрамленный, из нашего купе.

Разговор побежал, зашумел, засуетился вокруг вагонного воровства, ловкости и проворного лукавства вагонного жулья.

– Вот же недалеко ходить, – молвил некий почтительный дядя, – с нами, как есть, случилась быль. Едем на пролете у города Ростову. Только с вечера и басни было: украдут на ночь аль нет?.. И приспособиться-де надо ухранить добро... Говорили это говорили, да и заснули на том... Спим, ан глядь – часа через два криком кричит сосед, – чемодан, иш... За ним другой – и тому чемодан... А третьему мешок оставили, фотографией, што ли, стеклом был набит, тяжелой: поволокли до середки, бросили, взамен стекла хоть бы щиблеты, и те утянули, – вот до чего шпана! Моя сумка под головой целехонька лежит... Ну, как встал поезд при деле – завертели с фонарем, да по крыше шарить, да в колесах аль по ящикам ловить – да где же его сыщешь, сатану, – на то и в плутах зовется, чтоб концы в воду.

– Вот так раз... Ну и ну... О-го, – поддержали кругом рассказчика. – Дак как же это все-то вы враз сдрейфили?

Дядя раздумчиво очесался и молвил глухо, словно каясь:

– Усыпили, дьяволы!

– Усыпили?

– А то как – явственное дело – сон. Можно заснуть всем по себе?

– Ну, и так-таки никто ничего не слышал?

– Да нет, как будто... тово, чего-то я...

– То есть чего же?

– Да будто лез кто ко мне. И лезет, вроде как спрашивает: чемодан-то тяжелый, мол, дядя?

– Ну?

– Ну и ну, тут, видать, и конец: ни рукой, ни ногой – мертв лежу, в усыпление... А сосед, что босой: и я, говорит, чего-то вроде... в горле будто першило с духу гнилого и тошнота будто... Ну же – усыпление!.. Беспременное усыпление...

По лицам слушавших, как мошкara по воде, скользили недоверчиво улыбки. Дядя осмотрелся сурово и тихо, под нос себе, закончил:

– Не то усыпить – вовсе сгубить могут... Из носу украдут, и не чихнешь – вот до чего подлецы охочи.

Красноперая смешливая комсомолка брякнула дяде.

– Что ж, – говорит, – интересного у вас из носу украсть? Одна неприятность...

Купе вздрогнуло от хохота. Полушала старушка метнулась от стрекачей, почтительный дядя пробурчал что-то глухо и смущенно и тоже оттерся в сторону, на месте осталась зеленая смешливая молодежь. И сам собою перебил, переломился разговор: забыли враз старушкин полушало, забыли дядю, говорившего про чемоданы в носу, застрекотали про иное, кто во что горазд:

– Первый раз городского в деревне навсегда со смешком встретят... А что ж тебе от того смешка: перемоги, – значит, дурак, коли сразу не понял.

– ...А у нас только и было, что три пионера...

– Дрались бабы, не то што... а нынче...

– Никакого многополья! Никакого! А агроному зубы было выбили прочь... Мало ли што! Теперь погляди... То-то!.. В шесть рядов нагородил... Пол-избы поди: тут себе и по земле-устройству... Ленин стоит... тыща томов!

– Не кооператив, говорю, дворец на селе!

Зашумел, зазвенел молодой разговор про советскую деревню: про цвет-надежду крестьянскую, про галчат-пионеров, про комсомольских петухов, про темных деревенских баб, что порют ребят, пугаются ячейки, не пускают дочек в город на отраву, про сельские кооперативы, артели, про коммуны, про урожай... Гляжу я на них, красноголовых комсомолок, думаю:

«А про что, девушки, ехали – говорили бы вы десяток годов назад? В какую тугую сеть запутаны были бы ваши мозги? Как по-иному работали бы ваши мысли. Эх, комсомолки, счастливое вы племя!»

Мы стоим у окна. Говорит Гаврила Лукич:

– Я тридцать семь годов на «Большевики» молочу, всю свою жизнь, могу заявить, ремеслу своему подарил. А жил весь век все одно как пес... не то што там удовольствие жизни... Да и где же я думать мог, чтобы вдруг на Сочу? Наш хозяин, как есть, кажан год там катался, это правильно! А что же касемо нашего брата, мы только слушали про господскую эту Сочу... Гм... Накоса, на курорт! Вот оно што выходит, коли власть-то своя...

На желтых морщинистых щеках, по сухим губам Гаврилы Лукича пробила из глубины широкая ровная улыбка и осветила все лицо. Он стоял такой высокий и сутулый, даже теперь, в жару, не снявший ни кожаной тужурки, ни комиссарского черного картуза, – стоя у окна, сосал черную вонючую трубку и улыбался своим мыслям, своим словам.

– Один едешь?

– Я-то? Какой один! Нас тут, почитай, два вагона набузили: с одного «Большевика» сорок три элемента.

– Эго здорово!

– А то нет? – подхватил Лукич. – Теперь сорок три, да опять сорок три... да целое лето пугать: весь завод, надоть, лечить будут... Ладно уж псами в закутках быть – не все злому аспиду, и нам пожить охота!

Он осанисто поднял голову, распрямил сутулые плечи и, наивно, по-детски моргая подслеповатыми глазами, пытался отразить на лице своем достоинство, гордое достоинство человека, узнавшего себе настоящую цену.

Я чувствовал в голосе Гаврилы Лукича торжественную, все выше, выше нараставшую ноту; что-то булькало и вздрагивало у него в горле, словно душил изнутри его страшный напор, то забивая наглухо речь, то раскатывая ее переливчатым улюлюкающим горохом, то вдруг вышибая высокими, резкими, гордыми выкриками. Лицо Лукича озарилось, как у ребенка, темные глаза стали светлы от восторга, пропали морщины с желтого длинного лица, и лицо стало прекрасно, омолодилось внутренней молоджавостью, ядреной свежестью всего его существа.

– Тридцать лет не замечали, злые аспиды, что скот, что человек маялся в трудной доле... Мог ли я думать, ждал ли я когда, чтобы сам директор – теперешний, не тот, – чтобы подошел он ко мне, как бы ты вот стоишь, подошел да сказал: «Долга твоя жизнь, Гаврила Лукич... Велик твой труд, Гаврила Лукич... А радости в жизни не знал ты, товарищ. Так вот за работу твою долгую да честную – мы, все рабочие завода, дарим тебе орден!...» Вот он... орден!

И Гаврила Лукич распахнул кожаную тужурку. На груди его широкой сочной печатью красовался орден Трудового Знамени. Замер на минутку Лукич, глядел остановившимся, невидящим взглядом в пустое окно, пока разглядывали мы его орден, и сказал тихо и поучительно:

– Эта железка – тьфу! А вот уваженье да память обо мне – эт-то да! Ведь целый завод в собраньи стоял, бабы аж плакали, смотреть нельзя, когда подошли это ко мне все мои товарищи да ручку пожимают, да целовать меня стали, а сами, гляжу, опять же плачут с радости... Как

я вынул тогда руку из кармана, поднял ее кверху, вот так, чтобы над самой головой, и говорю: «Верно, товарищи, будто всю жизнь я жил как пес непригодный... Верно, что семейство мое (семеро!) тоже, окромя горя, не знало жизни... А теперь такой вышел момент на роду моем, что заметили, добром помянули меня... не все жить по-собачьи: шабаш! От этого дня, говорю вам крепко-накрепко: коли меня в пример да работу мою напоказ ценить, как и нельзя бы оно лучше, а я наддам, наддам паров на работу свою: это вам мое слово!»

– Оценить человека – большое дело, – говорю ему.

– Ну, как же не большое, коли работа весело идет! Я што ж, по себе – я за жалованьем, к примеру, большим не гонюсь, мне денег много – куды их? А вот ребят троих – учут; а вот бабе на родах – опять же помощь какая ни есть. Чего мне – уехал теперь, и горя мало: на месяц шесть им червяков оставил да в кооперативе кредиту на три червячка... Себе взял три: плохо? То-то и оно.

Потом разговор перешел на производство, – тут Гаврила Лукич как рыба в воде. Шутка ли, аэропланы сготовлять! Вдавался он во все тонкости, в мельчайшие детали своего производства, а я стоял и серьезно, вдумчиво слушал про эти коленчатые машины, про цилиндры, поршни, винтики, стержни, рычаги, шестеренки...

Вся эта мудрая гамма в смутных образах плыла перед моим воображением подобно многоцветному сонму туч, изнутри озаренных солнцем; вся эта мудрая гамма знаний была живой, родной и близкой действительностью для самого Лукича, была неотторжимой частью его самого.

Познакомился близко я и с другими ребятами с «Большевика», – вместе мы ехали почти до Сочи, – там где-то, около, у них совхоз. Мы, помню, расставались с печалью, мы искренне заверяли друг друга, что не раз приедем, что будем часто видеться, что тут близко... Но после не видались ни разу, – у каждого жизнь пошла своим чередом. Ну, как ты поправился, Гаврила Лукич? Встряхнул ли силами, что «злые аспиды» выматывали из тебя, высасывали долгих тридцать годов! Мой привет тебе с этих строк, кавалер трудового ордена, Гаврила Лукич!



## Путь

Мы мчим по Украине. Ядрены золотые хлебные поля – в этом году ждут урожая, как ни в одном из прошлых.

Бескрайны заросли ржи и пшеницы, бесстрастны и строги густые кукурузные дебри, мягки и нежны желтые простыни сочной гречихи, залиты солнцем тучные, пестро цветущие луга Украины. Нет кругом конца зеленеющим просторам, теряется, вязнет взор в пунцовых паутинах горизонта. В чистых, высветленных солнцем поселках играет легкая праздничная суета, и на лету, из вагонного окошка кажется, будто и жизнь-то вся там такая же солнечная, веселая, легкая: труда и горя людского не разглядишь из вагонного окна, – труд, чтоб почувствовать, надо взвалить себе на горб, а горю надо пристально взглянуть в глаза – только тогда их поймешь как надо.

Сидели крестьяне-мужички, охали, вздыхали, что трудно с налогами; сидели женщины-крестьянки, вздыхали о трудном хозяйстве, о большой семье – мал-мала меньше, говорили про дорогую одежду-обувку, про засол грибов, про скорую картошку, капусту, про жниво, про урожай... И сквозь эти тусклые жалобы-тревоги быстро и смело, как утренний луч, скользнет вдруг какая-нибудь остроглазая мысль про избу-читальню, про беседы там по хозяйству, юркнула весть о комсомоле, упадет цветочком алым пионерский знак, – это строится новая Украина, новая советская деревня.

И от птиц комсомольских, от пионерских алых цветов – расправляются глубокие морщины на крестьянском челе, веселеет взгляд, есть на что ему глянуть, есть чего ему ждать.

Бежал, все бежал шумный поезд в зеленых, солнцем облитых просторах. Белым голубем мелькнула деревушка, солнце играло бликами по бледным скрижалям; около деревушки на тихом, пустом лугу отдыхало ленивое сытое стадо... Вдруг поезд стал.

– Человека задавили! – крикнул кто-то.

Мы бежали туда, где с носилками стояли люди.

Они повернулись, ушли пустые, говорили промеж себя:

– Раз головы нет, чего и на носилки брать...

– В деревню возьмут... Без головы не лечут...

Дело было очень просто.

Мальчуган-пастушок из этой солнцем высветленной деревушки под зноем разомлел и уснул, уткнувшись на холодные освежающие рельсы. Ему напрочь оттяпало голову – на пути осталось только жалкое обезглавленное туловище, и казалось, что он все продолжал еще спать крепким сладким сном, съевшись жалким комочком, вогнув худые короткие ручонки под живот.

Скупно постояли над трупиком босого, оборванного, замызганного пастушонка и ушли. Уж настоящими слезами над ним поплачет обезумевшая с горя мать, – побежали сказать ей про беду в ту самую светлую деревушку, где из вагонного окошка на ходу видишь только легкую и радостную человеческую жизнь.

Паровоз набрался духу, запыхтел недовольно и сердито, бесстрастно побежав по полям и лугам, а окровавленный безголовый труп пастушонка остался лежать среди душистых, воздухом и солнцем залитых зеленей.

Были в Ростове. Помню я этот мрачный, скучный город по 1921 году. Узнать ли клоаку, центр всяких эпидемий, где на вокзале неделями больные люди ждали каких-то и кем-то назначенных очередей, спали всыпную на грязных и скользких каменных плитах, потом бежали к бесконечно долгим лентам людским и долго в них стояли, ждали, бранились, дрожали от гнева, от холода, с горя. И снова возвращались, удрученные, ко вшивым своим лохмотьям где-нибудь в вокзальном углу или просто на большой вокзальной дороге, посреди полу, где

лихо расхаркиваются на стороны терпкие плевки, где матерная брань в воздухе повисла, как над падалью голодный вой...

Люди ждали – не дожидались, ждали и умирали в тифу, в кровавой дизентерии, умирали с голоду, от истощенья, с безвыходной мертвой тоски.

И сам город стоял тогда знойный и серый от едкой пыли, смугло-черный от угля, неумытый, разоренный недавними кровавыми боями, стоял разрушенный, злой и неприветный. С Кубани в центр гнали хлебные эшелоны – центр совершал тогда первые шаги великого исторического поворота (Ильич уж сказал свое мудрое слово!); центр запасался хлебом, чтобы уход с разверстки к налогу не положил на лопатки измочаленную, усталую, голодную страну.

Разбитая и раздерганная магистраль героически выдерживала страстный напор транспортов, напор, продиктованный смертельной нуждой; стальная магистраль пути только-только начинала думать в те дни о возрождении – возрождаться еще не начинала. И Ростову, такому чуткому центру огромного раненого организма, надо было выполнить небывалой важности и величия историческую миссию, надо было помочь стать на ноги быстро и крепко нашей стране. Шли на север тугие эшелоны кубанской пшеницы, с севера шли составы иваново-вознесенского ситца, – и до этих ли было очередей на станциях и полустанках, до этих ли отдельных, стократ несчастных, застрявших по дырам людей, когда на карту поставлена была жизнь всего советского организма!

Привет тебе, чумазый от пыли и копоты город, привет твоему рабочему люду, что в тяжелую годину вынес на себе непосильную историческую ношу!

За Ростовом кубанские равнины: ни гор, ни лесов, – только развернут до горизонта – и к морю и к подножью гор – зеленый ковер. В этой житнице – миллионы пудов зерна, эта житница ставит советский мир так крепко на ноги перед хищным заморским рынком! На Кубань всегда с ожиданьем смотрят и белый Запад и золотой Восток: мы оттуда ждем урожайной укрепы, враг ждет своего: нашей неудачи. По Кубани, по этим вот сырым полям, по камышовым зарослям, среди плавней и лиманов – давно ли, давно ли перестали рыскать бандитские орды, наводя смертный ужас на крестьянина, на работника, казака? Давно ли Врангель под властной рукой талантливой Улагая выплюнул сюда свой десант, давно ли подкатывал тот десант под сердце беременной невзгодами Кубани, давно ли? И помню, как встрепенулась, ошетибилась она штыками, как светлая голова и железная рука Левандовского собрала в кулак живую силу Кубани и треснула по лбу с размаху мучителя. Он ляпнулся в море, – там ему и могила.

Многострадальные кубанские равнины! Слышим мы теперь и знаем, как в эти четыре мирных года разгрызли вы тугой советский орех, как трудом-трудом-трудом, бескрайними сочными пашнями, избами-читальнями, советской школой – как вы показали свое нутро.

В Армавире ночью. Красоты горные начнутся только на заре, от Белореченской, и там уж до самого моря, до Туапсе. Теперь спать! Но краток и чуток сон: чуть ударился бледным туманом рассвет – мы повскакали. В распахнутые пади окон жирно вливался свежий воздух гор. С непривычки первое время треплет дрожь. Но какая ж красота кругом! По горным склонам, насколько хватит взора, зеленой шершавой щетиной уплывают громады лесов. В этих кавказских лесах до сих пор есть места, где не ступала еще никогда человеческая нога: в этих лесах любимый приют сердитого черного медведя, много тут кабанов, много всякой лютой и нелютой живности, а в горах – дорогой руды. Справа только горы, и на кручах гор – чернеющие спины бескрайних лесов, слева – прозрачная черная речка, странно легкая, гибкая, тихоструйная, – такие редко бывают в горах. И вспомнил я, как по Грузинской дороге, недалеко от Дарьяльского ущелья, несется горная река Кистинка. Та мчится с бешеным, с грозным воем, вся седая, как мыльная пена, срывает камни по пути, ревет истступленно, словно раненый зверь – далеко слышать ее по ущелью. А эта тихая, будто монашка, – видно, вышла она не сдалека, не свысока.

По пути встречаются мелкие станциишки, они, подобно серым птичьим гнездам, прицепились на скалах, и дивом дивишься: как только висят, не повалятся? Ехали зеленою, горными шумами, дремучими лесами, то опускаясь, то подымаясь, откручивая дорогу сюда и туда. И вспомнил я иные месяцы, иные дни – они еще так недавни, так свежи в нашей цепкой памяти! Глухой конец восемнадцатого года. По голодному, обглоданному пути, с Новороссийска, через горные перевалы вот сюда, на это шоссе, на эти вот тропки выходила многострадальная Таманская армия. Передней колонной командовал Епифан Ковтюх. У Крв-тюха железная воля, у бойцов ковтюховских каменная рука и соколиный глаз, но у врага так много английских пулеметов! За колоннами бойцов тянулись сотни подвод и в тех подводах сидели бойцовы старики и старухи, сидели жены, крошки дети: все уходило с родной Кубани в неизвестную даль. Шли голодными, иссохшими горами, питались горной ягодой да хищной казацкой пулей, но впереди шел крепкой поступью командир Епифан Ковтюх, и за ним колонна грудью прокладывала себе путь под английскими пулеметами, с ножами и бомбами, штурмовала врага, губила его губительные атаки.

Вот здесь... по этим самым тропкам... Где вы теперь, соколы-таманцы? Много ль вас осталось в живых? Пашете пашню поди на родной Тамани, да теплым тихим вечером, когда за морем спустится багровое солнце, рассказываете детям, как восемь лет назад в глухие осенние месяцы шли вы по мертвому Черноморью, лбом и сердцем ловили казачью пулю, шли каменным неумолимым ходом за каменной фигурой своего могутного вождя Епифана Ковтюха!

Синей птицей в прореху гор нырнуло море. Мы близко к Туапсе. И лишь только завидели, заволновались театрально, самые тихие впали в козлиный восторг.

– Море! Ах, море! Вот оно, море! Ничто я не люблю так, как море!

– Кашу больше любишь поди, – заметил спокойно Гаврила Лукич. И все рассмеялись. Тогда он добавил еще вразумительней:

– Вода и вода, нешто соленая только... Вода бывает и в кадушке... Ну, слов нет, тут побольше... А по делу глядеть – одно и то же!

Словно ушатом ледяной воды обдал он своими едкими словами восторженных козлят. Деланный пафос утишился, говорили проще, без пыли в глаза.

– Видал я море, – рассказывал Гаврила Лукич. – Очень видал и даже всяко: потише и в штормы – ну, всяко... А скушно!.. Минуты на три хватило моих радостей, а то нет: скушно. Вот на Волге у нас, – сам я оттуда, – это вот – что надо, там год сиди у воды не евши, и то не скушно... Да вообще... и горы эти, как погляжу – только что сразу, а то...

Гаврила Лукич недовольно отмахнулся.

– То ли дело в лесу у нас, положим... Н... ну, уж... Это, что называется, сущая красота, а тут... эх!

Приехали в Туапсе. Поезда ждать два часа. Сегодня воскресенье, по воскресеньям здесь базар: айда, ребята, на базар! И вот мы толкаемся среди лотков с живой камбалой, среди ящичков сушеной рыбы, лавчонок, где навалена грудой всякая снедь, понавешаны цветные восточные платки, где так много фруктов, сластей, словом – базар, как все восточные базары: сладкопряны, душисты и многоцветны. Впрочем, мелок, и какому-нибудь ташкентскому, самаркандскому – во внучки под стать!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.